# Гумилев Николай Степанович

3 (15) апреля 1886 года – 24 августа 1921 года

Гумилев Николай Степанович

Много их, сильных, злых и веселых,

Убивавших слонов и людей,

Умиравших от жажды в пустыне,

Замерзавших на кромке вечного льда,

Верных нашей планете,

Сильной, веселой и злой,

Возят мои книги в седельной сумке,

Читают их в пальмовой роще,

Забывают на тонущем корабле.

Я не оскорблю их неврастенией,

Не унижаю душевной теплотой,

Не надоедаю многозначительными намеками

На содержимое выеденного яйца,

Но когда вокруг свищут пули,

Когда волны ломают борта,

Я учу их как не бояться,

Не бояться и делать, что надо.

Н.С. Гумилев родился в Кронштадте. По выходу отца (морского врача) в отставку, семья переехала в Царское Село, оттуда в Тифлис. В газете «Тифлисский листок» в сентябре 1902 года было напечатано первое стихотворение Гумилева. Учился он плохо, гимназию закончил только в двадцать лет, уже в Царском Селе. Там же в последнем классе гимназии выпустил в свет сборник стихов «Путь конквистадоров». Сборник попал на глаза Брюсову, и мэтр доброжелательно отметил ряд, на его взгляд, удачных образов.

В 1907 году Гумилев уехал в Париж. Правда, в Сорбонне он учился ничуть не лучше, чем в гимназии, зато затеял издание литературного журнала «Сириус». Среди авторов (весьма немногочисленных) оказалась Анна Горенко, будущая жена Гумилева. Сама она к затее Гумилева отнеслась скептически. «Зачем Гумилев взялся за «Сириус» - писала она другу 13 марта 1907 года. - Это меня удивляет и приводит в необычайно веселое настроение... Вы заметили, что сотрудники почти все так же известны и почтенны, как я..»

Не менее скептически отнеслись к молодому поэту Мережковский и Гиппиус, жившие тогда в Париже. «Я имел к Зинаиде Николаевне рекомендательное письмо от ее знакомой писательницы Микулич и однажды днем я отправился к ней, - сообщал Гумилев Брюсову. - Войдя, я отдал письмо и был введен в гостиную. Там, кроме Зинаиды Николаевны, были еще Философов, Андрей Белый и Мережковский. Последний почти тотчас скрылся, остальные присутствующие отнеслись ко мне очень мило, и Философов начал меня расспрашивать о моих философско-политических убеждениях. Я смутился, потому, чтобы рассказать мое мировоззрение стройно и связно, потребовалась бы целая речь, а это было невозможно. Я отвечал, как мог, отрывая от своей системы клочки мыслей, неясные и недосказанные. Но, очевидно, желание общества было подвести меня под какую-нибудь рамку. Сначала меня сочли мистическим анархистом - оказалось неправильно. Учеником Вячеслава Иванова - тоже. Последователем Сологуба - тоже. Наконец сравнили с каким-то французским поэтом Бетнуаром или что-то в этом роде. На мою беду в эту минуту вошел хозяин дома Мережковский, и Зинаида Николаевна сказала ему «Ты знаешь, Николай Степанович напоминает Бетнуара». Это было моей гибелью. Мережковский положил руки в карманы, встал у стены и начал отрывисто и в нос «Вы, голубчик, не туда попали! Вам не здесь место! Знакомство с вами ничего не даст ни вам, ни нам. Говорить о пустяках совестно, а в серьезных вопросах мы все равно не сойдемся. Единственное, что мы могли бы сделать, это спасти вас, так как вы стоите над пропастью. Но это ведь...» Тут он остановился, я добавил тоном вопроса «Дело не интересное» И он откровенно ответил «Да», - и повернулся ко мне спиной. Чтобы сгладить эту неловкость, я посидел еще минуты три, потом стал прощаться. Никто меня не удерживал, никто не приглашал...»

В Париже вышел сборник стихов Гумилева «Романтические цветы». Давно увлеченный мечтой об Африке, поэт просил у отца денег, но отец посчитал такое путешествие совершенно пустым занятием. Гумилев, экономя деньги, присылаемые ему на жизнь, все же совершил поездку в Африку, навсегда после этого заболев любовью к черному материку. Чтобы не дать отцу возможности вмешаться в свои планы, Гумилев заблаговременно написал несколько писем, оставил их друзьям, - они и посылали письма в Россию через определенные промежутки времени.

Вернувшись в 1908 году в Петербург, Гумилев активно вошел в литературную жизнь столицы. Настолько активно, что в 1909 году в мастерской художника А.Я. Головина произошло его резкое столкновение с Максимилианом Волошиным, вызванное сложными отношениями обоих с поэтессой Е. Дмитриевой (Черубиной де Габриак). Присутствовавшие при ссоре Анненский, Головин, В. Иванов пытались вмешаться, но Гумилев вызвал Волошина на дуэль.

«Весь следующий день между секундантами шли отчаянные переговоры, - вспоминал позже Алексей Толстой. - Гумилев предъявил требование стреляться в пяти шагах до смерти одного из противников. Он не шутил. С большим трудом, под утро, секундантам Волошина - князю Шервашидзе и мне - удалось уговорить секундантов Гумилева - Зноско-Боровского и М. Кузмина - стреляться на пятнадцати шагах. Но надо было уломать Гумилева.

На это был потрачен еще день.

Наконец, на рассвете третьего дня, наш автомобиль выехал за город по направлению к Новой Деревне. Дул мокрый морской ветер, и вдоль дороги свистели и мотались голые вербы. За городом мы нагнали автомобиль противников, застрявший в снегу. Мы позвали дворников с лопатами, и все, общими усилиями, выставили машину из сугроба. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки в карманы, следил за нашей работой, стоя в стороне. Выехав за город, мы оставили на дороге автомобили и пошли на голое поле, где были свалки, занесенные снегом. Противники стояли поодаль, мы совещались, меня выбрали распорядителем дуэли. Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов, просил противников встать на места и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным, черным силуэтом различимый в мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег. Подбегая к нему, я провалился по пояс в яму с талой водой. Он спокойно выжидал, когда я выберусь, взял пистолет, и тогда только я заметил, что он не отрываясь с ледяной ненавистью глядит на Волошина, стоявшего, расставив ноги, без шапки. Передав второй пистолет Волошину, я, по правилам, в последний раз предложил мириться, но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно «Я приехал драться, а не мириться». Тогда я просил приготовиться и начал громко считать раз, два... (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов) ...три! - крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет, и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством «Я требую, чтобы этот господин стрелял». Волошин проговорил в волнении «У меня была осечка». - «Пускай он стреляет во второй раз, - крикнул опять Гумилев, - я требую этого!» Волошин поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащей руки пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. «Я требую третьего выстрела». Мы начали совещаться и отказали...»

25 апреля 1910 года Гумилев женился на Анне Андреевне Горенко (Ахматовой). Свадебное путешествие они совершили в Париж. А уже осенью, оставив молодую жену дома (поселились они в имении Гумилевых Слепневе), выпустив в свет книгу стихов «Жемчуга» (посвященную В. Брюсову), Гумилев вновь уехал в Африку.

В 1911 году у Гумилевых родился сын Лев, будущий известный ученый. В том же году Гумилев организовал «Цех поэтов», в недрах которого возникло новое направление в русской поэзии - акмеизм. «Для внимательного читателя, - писал Гумилев в статье «Наследие символизма и акмеизм», - ясно, что символизм закончил свой круг развития и теперь падает. На смену символизму идет новое направление, как бы оно ни называлось, акмеизм ли (от слова акмэ - высшая степень чего-либо, цвет, цветущая пора) или адамизм (мужественно твердый и ясный взгляд на жизнь), во всяком случае, требующее большего равновесия сил и более точного знания отношений между субъектом и объектом, чем то было в символизме. Однако, чтобы это течение утвердило себя во всей полноте и явилось достойным преемником предшествующего, надо, чтобы оно приняло его наследство и ответило на все поставленные им вопросы. Слава предков обязывает, а символизм был достойным отцом...»

Глубоко веря в силу ремесла, Гумилев и поэтической работе придал строго цеховую форму. Во главе «Цеха поэтов» стояли синдики - уже сложившиеся мастера - Гумилев и Городецкий. Им помогал стряпчий Д.В. Кузьмин-Караваев. Синдикам, поочередно проводившим заседания, всецело подчинялись подмастерья. Они обязаны были работать над своими произведениями, не проявляя никакого своеволия и слушаясь синдиков. Кроме акмеистических журналов «Гиперборей» и «Аполлон», подмастерья нигде не могли печатать свои вещи без специального разрешения.

В 1913 году Гумилев вновь едет в Африку. На этот раз с командировкой от Академии наук. «Многоуважаемый Лев Яковлевич, - сообщал он академику Штембергу, - как Вы увидите по штемпелю, мы уже в Абиссинии. Нельзя сказать, чтобы путешествие началось совсем без приключений. Дождями размыло железную дорогу, и мы ехали 80 километров на дрезине, а потом на платформе для перевозки камней. Прибыв в Дире-Дауа, мы тотчас же отправились в Харар покупать мулов, так как здесь они дороги. Купили пока четырех, очень недурных, в среднем по 45 р. за штуку. Потом вернулись в Дире-Дауа за вещами и здесь взяли четырех слуг, двоих абиссинцев и двух галласов, и пятого переводчика, бывшего ученика католической миссии, галласа... Мой маршрут более или менее устанавливается. Я думаю пройти к Баре, оттуда по реке Уэби Сидамо к озеру и, пройдя по земле Прусси, по горному хребту Ахмор, вернуться в Дире-Дауа. Таким образом я все время буду в наименее изученной части Галла...»

В августе 1914 года, в самом начале войны, Гумилев вступил вольноопределяющимся, «охотником», как тогда принято было говорить, в лейб-гвардии Ее величества уланский полк, входивший в состав 2-й гвардейской кавалерийской дивизии конницы хана Нахичеванского. В «Записках кавалериста», регулярно появлявшихся с февраля 1915 по январь 1916 года в газете «Биржевые ведомости», Гумилев подробно рассказывал о виденном на фронте.

«Вдруг ползущий передо мной остановился, и я с размаху ткнулся лицом в широкие и грязные подошвы его сапог. По его лихорадочным движениям я понял, что он высвобождает из ветвей свою винтовку. А за его плечом на небольшой, тесной поляне, шагах в пятнадцати, не дальше, я увидел немцев. Их было двое, очевидно, случайно отошедших от своих один - в мягкой шапочке, другой - в каске, покрытой суконным чехлом. Они рассматривали какую-то вещицу, монету или часы, держа ее в руках. Тот, что в каске, стоял ко мне лицом, и я запомнил его рыжую бороду и морщинистое лицо прусского крестьянина. Другой стоял ко мне спиной, показывая сутуловатые плечи. Оба держали у плеча винтовки с примкнутыми штыками. Только на охоте за крупными зверьми, леопардами, буйволами, я испытал то же чувство, когда тревога за себя вдруг сменялась боязнью упустить великолепную добычу. Лежа, я подтянул свою винтовку, отвел предохранитель, прицелился в самую середину туловища того, кто был в каске, и нажал спуск. Выстрел оглушительно пронесся по лесу. Немец опрокинулся на спину, как от сильного толчка в грудь, не крикнув, не взмахнув руками, а его товарищ как будто согнулся и как кошка бросился в лес. Над моим ухом раздались еще два выстрела, и он упал в кусты, так что видны были только его ноги. «А теперь айда!» - шепнул взводный с веселым и взволнованным лицом, и мы побежали. Лес вокруг нас ожил. Гремели выстрелы, скакали кони, слышалась команда на немецком языке. Мы добежали до опушки, но не в том месте, откуда пришли, а много ближе к врагу. Надо было перебежать к перелеску, где, по всей вероятности, стояли неприятельские посты. После короткого совещания было решено, что я пойду первым, и, если буду ранен, то мои товарищи, которые бегали гораздо лучше меня, подхватят меня и унесут. Я наметил себе на полпути стог сена и добрался до него без помехи. Дальше приходилось идти прямо на предполагаемого врага. Я пошел, согнувшись и ожидая каждую минуту получить пулю вроде той, которую сам только что послал неудачливому немцу. И прямо перед собой в перелеске я увидел лисицу. Пушистый красновато-бурый зверь грациозно и неторопливо скользил между стволов. Не часто в жизни мне приходилось испытывать такую чистую, простую и сильную радость. Где есть лисица, там наверное нет людей. Путь к нашему отступлению свободен...»

В декабре 1914 года Гумилев получил звание ефрейтора и Георгиевский крест IV степени. В январе 1915 года - произведен в унтер-офицеры, а в декабре удостоен второго Георгиевского креста - III степени. Наконец, в мае 1917 года - назначен в русский экспедиционный корпус, находившийся в расположении союзников. Через Финляндию, Швецию, Норвегию, Англию Гумилев прибыл в Париж.

«О его службе там (в Париже) мало что известно, но и малая осведомленность дает мне основание высказать предположение, что Гумилев служил в русской разведке, - писал в 1988 году писатель В. Карпов, сам в прошлом военный разведчик. - Основанием для такой гипотезы служит то, что на фронте он был разведчиком, и то, что в Париже, и позднее в Лондоне, Гумилев был связан с военным атташе. Это предположение я не могу подкрепить неопровержимыми документами, но есть бумаги, косвенно его подтверждающие, хотя бы служебная «Записка об Абиссинии», написанная рукой Гумилева. Это информационный документ, характеризующий мобилизационные возможности Абиссинии для пополнения войск союзников, она Гумилевым так и названа «Записка относительно могущей представиться возможности набора отряда добровольцев». Подробно и со знанием дела Гумилев излагает мобилизационные возможности абиссинских племен. Записка эта написана Гумилевым на французском языке и, очевидно, использовалась как русским, так и французским командованием...»

В апреле 1918 года Гумилев вернулся в Россию. Здесь вышли сборники «Колчан», «Костер», «Фарфоровый павильон», африканская поэма «Мик», а в 1919-м - перевод вавилонского эпоса «Гильгамеш». Тогда же, в 1918 году Гумилев развелся с Ахматовой и женился на Анне Энгельгард. Он поселился в одной из комнат Дома искусств, приспособленного под общежитие писателей, но из-за трудных условий он скоро отправил жену в Слепнево. Входил в редколлегию издательства «Всемирная литература». Выступал с многочисленными лекциями в Тенишевском училище, в Пролеткульте, в Балтфлоте. Руководил поэтической студией «Звучащая раковина», создал второй «Цех поэтов».

«О семинаре Гумилева в среде любителей поэзии сложилось немало легенд, и от меня хотели узнать, что в этих легендах правда, а что - вымысел, - вспоминал позже Николай Чуковский, активный участник «Звучащей раковины». - Особенно упорным является предположение, будто Гумилев заставлял своих учеников чертить таблицы и учил их писать стихи, бросая на эти таблицы шарик из хлебного мякиша. Так вот, что было и чего не было таблицы были, шарика не было. Гумилев представлял себе поэзию как сумму неких механических приемов, абстрактно-заданных, годных для всех времен и для всех поэтов, не зависимых ни от судьбы того или иного творца, ни от каких-либо общественных процессов. В этом он перекликался с так называемыми формалистами, группировавшимися вокруг общества ОПОЯз (Виктор Шкловский, Роман Якобсон, Б. Эйхенбаум и др.). Но в отличие от теорий опоязовцев, опиравшихся на университетскую науку своего времени, теории Николая Степановича были вполне доморощенными. Для того, чтобы показать уровень лингвистических познаний Гумилева, приведу только один пример он утверждал на семинаре, что слово «семья» произошло от слияния двух слов «семь я», и объяснял это тем, что нормальная семья состоит обычно из семи человек - отца, матери и пятерых детей. Все это мы, студенты, добросовестно записывали в свои тетради. Стихи, по его мнению, мог писать каждый, для этого следовало только овладеть приемами. Кто хорошо овладеет всеми приемами, тот будет великолепным поэтом. Чтобы легче было овладевать приемами, он их систематизировал. Эта систематизация и была, по его мнению, теорией поэзии.

Теория поэзии, утверждал он, может быть разделена на четыре отдела фонетику, стилистику, композицию и эйдологию. Фонетика исследует звуковую сторону стиха - ритмы, инструментовку, рифмы. Стилистика рассматривает впечатления, производимые словом, в зависимости от его происхождения. Все слова русской речи Николай Степанович по происхождению делил на четыре разряда славянский, атлантический, византийский и монгольский. В славянский разряд входили все исконно славянские слова, в атлантический - все слова, пришедшие к нам с запада, в византийский - греческие, в монгольский - слова, пришедшие с востока. Композиция тоже делилась на много разрядов, из которых главным было учение о строфике. Эйдологией он называл учение об образе (эйдол - идол - образ). Так как каждый отдел и каждый раздел делились на ряд подотделов и подразделов, то всю теорию поэзии можно было вычертить на большом листе бумаги в виде наглядной таблицы, что мы, участники семинара, и обязаны были делать с помощью цветных карандашей. Подотделы и подразделы располагались на этой таблице таким образом, что составляли вертикальные и горизонтальные столбцы. Любое стихотворение любого поэта можно было вчертить в эту таблицу в виде ломаной линии, отдельные отрезки которой располагались то горизонтально, то вертикально, то по диагонали. Чем лучше стихотворение, тем больше различных элементов будет приведено в нем в столкновении и, следовательно, тем больше углов образует на таблице выражающая его линия. Линии плохих стихов пойдут напрямик - сверху вниз или справа налево. Таким образом, эта таблица, по мнению ее создателя, давала возможность не только безошибочно и объективно критиковать стихи, но и писать их, не рискуя написать плохо. Мы, студисты, - не без юмора замечал Чуковский, - усердно сидели над своими таблицами и, тем не менее, писали на удивление скверные вирши. На семинаре мы читали их поочередно, по кругу, и Николай Степанович судил нас. Когда по кругу приходила его очередь, читал и он - новые стихи, написанные в промежутке между двумя семинарами. Он много писал в те годы, то были годы расцвета его дарования, он писал все лучше. Не знаю, пользовался ли он сам своими таблицами. Одно для меня несомненно - к таблицам он относился совершенно серьезно...»

Чуковский был прав, говоря о расцвете дарования Гумилева. В последних своих книгах («Костер», «Шатер», «Огненный столп») он предстал перед читателями поэтом, действительно создавшим свой собственный, ни на какой другой непохожий мир.

«Прекрасно в нас влюбленное вино, и добрый хлеб, что в печь для нас садится, и женщина, которою дано, сперва измучившись, нам насладиться... Но что нам делать с розовой зарей над холодеющими небесами, где тишина и неземной покой, что делать нам с бессмертными стихами.. Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновение бежит неудержимо, и мы ломаем руки, но опять осуждены идти все мимо, мимо... Как мальчик, игры позабыв свои, следит порой за девичьим купаньем, и, ничего не зная о любви, все ж мучится таинственным желаньем... Как некогда в разросшихся хвощах, ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья... Так век за веком - скоро ли, Господь - под скальпелем природы и искусства, кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства...»

Жил Гумилев в бывшей редакции журнала «Аполлон». Николай Чуковский, побывавший там со своим приятелем, вспоминал «Никаких следов редакции уже не осталось, - это была теперь жилая квартира, холодная, запущенная, почти без мебели. Статуя Аполлона Бельведерского исчезла, но зато в просторной редакционной приемной на стене висел громадный, во весь рост, портрет Анны Ахматовой, не знаю, чьей работы, поразительно похожий. К тому времени Николай Степанович был уже с Ахматовой давно в разводе и в плохих отношениях, и поэтому увидеть портрет ее в этой комнате мы не ожидали.

Шумно пылал огонь в большом камине. Перед камином на стопочке книг сидел Николай Степанович, поджав колени к подбородку. На нем была темная домашняя курточка, самая затрапезная, но и в ней он казался таким же торжественным и важным, как всегда. Нас, попритихших и испуганных, он принял серьезно, как равных. Он усадил нас перед камином на книги и объяснил, что все редакционные столы и стулья он уже сжег. И я с удивлением увидел, что в камине пылают не дрова, а книги, - большие толстые тома. Николай Степанович сообщил нам, что он топит камин роскошным тридцатитомным изданием сочинений Шиллера на немецком языке. Действительно, издание было роскошнейшее, - в тисненных золотом переплетах, с гравюрами на меди работы Каульбаха, проложенными папиросной бумагой. Брошенный в пламя том наливался огнем, как золотой влагой, а Николай Степанович постепенно перелистывал его с помощью кочерги, чтобы ни одна страница не осталась несгоревшей. Мне стало жаль книг, и я имел неосторожность признаться в этом. Николай Степанович отнесся к моим словам с величайшим презрением. Он объяснил, что терпеть не может Шиллера и что люди, любящие Шиллера, ничего не понимают в стихах. Существуют, сказал он, две культуры, романская и германская. Германскую культуру он ненавидит и признает только романскую. Все, что в русской культуре идет от германской, отвратительно. Он счастлив, что может истребить хоть один экземпляр Шиллера. Мы почтительно помолчали, хотя я от всей души любил Шиллера, известного мне, правда, только по переводам Жуковского. У Николая Степановича его германофобия была пережитком шовинистических настроений 1914 года, но он вообще был галломан и ставил французскую поэзию несравненно выше русской. Кроме того, теория о двух культурах, романской и германской, помогала ему в борьбе с влиянием Блока, которого он объявлял проводником германской культуры...»

В ночь с 3 на 4 августа 1921 года Гумилев был арестован по обвинению в участии в контрреволюционной Петроградской боевой организации (ПБО), возглавляемой профессором В.Н. Таганцевым.

«Не берусь судить о степени виновности Гумилева, - писал Карпов, - но и невиновности его суд не установил. О заговоре Таганцева было подробное сообщение в газете. Про Гумилева, в частности, там сказано следующее «Гумилев Николай Степанович, 33 л., б. дворянин, филолог, поэт, член коллегии изд-ва «Всемирной литературы», беспартийный, б. офицер. Участник ПБО, активно содействовал составлению прокламаций к.-р. содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, которая активно примет участие в восстании, получал от организации деньги на технические надобности». Решение суда - расстрел.

Хочу высказать просто логические суждения по поводу обстоятельств, в которых оказался Гумилев. Он был офицером. Звание накладывает своеобразный отпечаток на поведение, образ жизни и общение людей военных. Советские офицеры отказались от многих традиций, которые не свойственны Советской Армии. Но мне, советскому офицеру в прошлом, понятно, например, почему до революции офицеры за оскорбление словом, не говоря уж об оскорблении действием, вызывали на дуэль лишались жизни, сберегая свою честь. Понимая это, я представляю себе Гумилева, к которому, очевидно, пришли его друзья или бывшие сослуживцы-офицеры и, зная его как человека своего круга, предложили, видимо, участвовать в заговоре и для начала написать прокламацию. Но, насколько мне известно, он эту прокламацию не написал. Дальше в обвинении сказано «обещал связать». Но обещал, опять-таки исходя из чисто офицерских отношений; он просто не мог отказать сотоварищам, даже и не будучи их единомышленником. По старой дружбе обещал. Но в газете ведь не сказано, что он это обещание выполнил. Еще известно, что при аресте у Гумилева были изъяты из письменного стола деньги. Именно те деньги, которые были ему отпущены на «технические надобности». А если деньги были изъяты, следовательно, Гумилев просто не успел осуществить или оплатить какое-то дело, на которое предназначались эти деньги. Но самое убедительное, на мой взгляд, доказательство лояльности Гумилева в том, что у него нет антисоветских стихотворений. Ни одного! И это говорит об очень многом».

24 августа 1921 года Гумилев был расстрелян.

В 1987 году в журнале «Новый мир» выступил Г.А. Терехов, заслуженный юрист РСФСР, государственный советник юстиции второго класса. «Мне довелось по долгу службы, - писал он, - изучать в свое время все материалы дела, находящегося в архиве. Я ознакомился с делом Гумилева, будучи прокурором в должности помощника Генерального прокурора СССР и являясь членом коллегии Прокуратуры СССР. По делу установлено, что Н.С. Гумилев действительно совершил преступление, но вовсе не контрреволюционное, которое и в настоящее время относится к роду особо опасных государственных преступлений, а так называемое «иное государственное преступление», а именно - не донес органам советской власти, что ему предлагали вступить в заговорщическую организацию, от чего он категорически отказывался. Никаких других обвинительных материалов, которые изобличали бы Гумилева в участии в антисоветском заговоре, в том уголовном деле, по материалам которого осужден Гумилев, нет. Там содержатся лишь доказательства, подтверждающие недонесение им о существовании контрреволюционной организации, в которую он не вступил. Мотивы поведения Гумилева зафиксированы в протоколе его допроса пытался его вовлечь в антисоветскую организацию его друг, с которым он учился и был на фронте. Предрассудки дворянской офицерской чести, как он заявил, не позволили ему пойти с доносом. Преступление считается серьезным, но совершено оно не по политическим мотивам. Совершенное Гумилевым преступление по советскому уголовному праву называется - «прикосновенность к преступлению», и по Уголовному кодексу РСФСР ныне наказывается по ст. 88 УК РСФСР лишением свободы на срок от одного до трех лет или исправительными работами до двух лет. Соучастием недонесение по закону не является. Нельзя смешивать в одну кучу и тех, кто согласился участвовать в заговоре, и тех, кто от этого категорически отказался.

В настоящее время по закону и исходя из требований презумпции невиновности Гумилев не может признаваться виновным в преступлении, по которому он был осужден. Любые иные (в том числе следственные и судебные) материалы, даже если они имеются в других уголовных делах, но не приобщены были в то время к делу Гумилева, не могут быть приняты в настоящее время во внимание юридической (а также и политической) оценки поведения Н.С. Гумилева. Полагаю, что такие материалы (если они существуют) не могут быть сейчас, шестьдесят шесть лет спустя, направлены в обвинение Гумилева, а также использованы литературоведами. Между прочим, в материалах уголовного дела по обвинению Н.С. Гумилева имеется обращение Максима Горького с просьбой в пользу Гумилева».